



Наталья
ВЕСЕЛОВА

ВАРИАНТ
СВОБОДЫ

Наталья Веселова

Вариант свободы

<https://litres.ru/63678201>

SelfPub; 2026

Аннотация

И в любви можно захлебнуться до смерти. Даже в материнской. В романе повествуется о классическом случае «психологического инцеста», когда одинокая мать стремится к полному слиянию с дочерью, неосознанно отрицая ее собственное «я». Героиня романа не сразу понимает, что живет чужой жизнью, а когда наступает прозрение — стремится вырваться на свободу. Но, уже нравственно искалеченная любящей матерью, находит уродливый и преступный выход. Другая героиня — частный детектив, которому, увы, не удастся раскрыть довольно банальное преступление...

Содержание

Часть I	4
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Вариант свободы

Часть I

Чем русская женщина восхищает хоть сколько-нибудь западного мужчину – написано-перенаписано, спето-перепето. Но изумлять не перестает одним: нетребовательностью, граничащей с самоуничижением; на Руси принято называть это жертвенностью. Рассказы о жадных хватистых тетках и появляться-то стали серьезно только в конце двадцатого века, когда вместе с модой на безопасный секс, пупочный пирсинг и баночные напитки пришла и мода на «спонсоров». Пришла, но, в общем, не задержалась, и средняя русская баба – как из самых маргинальных низов, так и на самой сливочной верхушке – все та же затираненная рабыня теремного образца. Не говорите мне ничего про деловую, самодостаточную, ворочающую полукриминальным капиталом: это где-то там, за пределами своего мраморного дворца, она чем-то ворочает, стучит холеным кулачком по столу или артистически матерится, а дома – все равно терпит и смиряется, имея одну сомнительную цель: лишь бы не бросил. Все, что угодно, лишь бы был свой мужик, желательно, муж. Пьет, бьет, помыкает, изгаляется? Ничего, никому: зачем сор из избы выносить? Наутро синяки замажет тональником, сверху припудрит и – на работу. Если спросят злорадники: «Что это у

вас – никак, синяк под глазом?» – скажет, что упала и, как на-
зло, прямо об угол стола; а если уж и зубов недостает, то – об
батарею. Нет, конечно, закатит иногда доведенная до край-
ности русская женщина своему любимому неопасную исте-
рику: «Негодяй, жизнь мою загубил!» – а все равно – самый
любый кусок мяса (варианты: огрызок, устрицу) – ему, дра-
гоценному, потому что – добытчик. Неважно, что он уже го-
да три ничего не добывает, а лежит поперек кровати и рас-
суждает о том, что в этой проклятой стране его гений не вос-
требован темной толпой, а в цивилизованном обществе он
давно бы уже купался в долларах – и, опять же, ничего не
делал. Пусть она надрывается без выходных на трех работах,
а на ночь берет домой переводы, все равно ему – лучшее.
Зачем? – спросишь. А чтоб самоуважение не потерял, отве-
тит. А то потеряет – хуже будет: запьет, начнет буянить и
руки распускать, вновь долдоня что-то про цивилизованное
общество и про то, какой должна быть настоящая жена, на-
прочь забыв о том, что в том самом «цивилизованном обще-
стве» настоящая жена этой стадии и не увидела бы, разве-
дась с мужем еще на первой и вскрыв его на такие сытные
алименты, что работать бесценному гению все равно бы при-
шлось – чтоб за неуплату не сесть в тюрьму.

Вот точно так, хрестоматийно пробилась и я с двумя тесно
последовавшими друг за дружкой гражданскими мужьями,
каждый раз к моменту расставания не чувствуя уже ровно
ничего, кроме облегчения. Потом, когда слышала от кого-то

из женщин о разрыве, как о трагедии или крушении, – криво ухмылялась: да счастье это! Освобождение!

Есть еще одно расхожее мнение: русские женщины очень доступны. Заметьте, это снова мнение извне, из чуждой, сторонней культуры: русские мужчины, наоборот, порой долго удивляются, почему это бабу приходится так долго уламывать. Помню два случая – один собственный, другой рассказали.

Села я однажды в метро на конечной станции. Формы, так надежно в служилую бытность защищавшей от поползновений (кто посмеет задеть капитана милиции?) на мне, как и в большинстве случаев, не было, но собственная одежда нравилась: нарядный свитерок, брючки черненькие, туфельки замшевые, ладные такие... И в почти пустом вагоне уселся рядом со мной мужчина вида потрепанного интеллигента: древний свитер, брюки еще, наверное, отцовские, волосья немыты и нестрижены, сам небритый, припахивает недельным потом и никогда не стиранными носками, в доисторических очках и – венец всего – портфель-бегемот: не иначе, от научных книг так распух... Мне стало любопытно: неужели этот замухрышка подсел к нарядной ухоженной женщине, чтобы познакомиться? Неужто рискнет, не застесняется? Потом устыдилась: нет, не может такого быть – настолько очевидна пропасть, лежащая между нами! Может, горе у человека, нужда, и, увидев располагающее лицо, несчастный хочет попросить помощи, денег... Ну что ж, дам, сколько

смогу: видно же, что человек образованный, хоть и опустившийся.

– Вы на какой остановке выходите? – прозвучал вдруг властный, лишенный какого бы то ни было смущения голос.

И, не успела я перестроиться и переключиться на отпор, как сосед невозмутимо продолжил:

– Впрочем, какая разница. Я – на Пушкинской. Выходим вместе и идем ко мне, там рядом.

Деловое это предложение настолько меня озадачило, что я и слов не нашла – просто молча поднялась и двинулась прочь по проходу, одарив донжуана на прощанье диким взглядом. И что вы думаете? Отвергнутый любовник со своим ручным бегемотом вдруг преградил мне дорогу! Голосом, полным неподдельной обиды и праведного возмущения он не спросил, а спросил:

– А почему это, собственно, вы мне отказываете?!!

Второй случай из того же ряда и тоже очень иллюстративный. Захандрила как-то от неразрешимого одиночества сестра нашей секретарши – и бес попутал ее подать куда-то объявление о знакомстве. Объявление то я видела: за версту несло от него домашними пирогами с капустой, пирамидой подушек на пузатой кровати под кружевным покрывалом, выводком детей в платицах и шортах – словом, всем тем, что обтекаемо называется в таких объявлениях «серьезными намерениями». Из всех четырехсот пятидесяти двух писем, пришедших на ее имя, завидная невеста выбрала са-

мое приличное, снеслась с его автором по телефону и услышала вполне приятный голос мужчины. Вежливо пообщавшись, назначили первое свидание у памятника Екатерине Второй. Барышня перерыла весь свой гардероб, потом сестрин, потом подружкин, в последний момент все забраковала и, прижимая к груди кошелек с кровной заначкой, понеслась в бутик средней руки... К памятнику пришла, чувствуя себя равной, по меньшей мере, княгине Дашковой, вполне благосклонно взиравшей сверху, и стала оглядываться в поисках предполагаемого князя, обрисовавшего себя как «высокого, красивого, моложавого, артистичного». Она деликатно осматривалась, брезгливо сторонясь грязного и вонючего бомжа, путавшегося под ногами, вероятно, в поисках пустых бутылок или в надежде на жирный «бычок» – и в ужасе отпрянула, когда выяснилось, что это и есть ее вожделенный князь. Опомнившись, девушка взяла себя в руки, в то время как сердце затопила извечная жалость: «Без женской руки – так долго! Спасу! Отмою! Отогрею! С лица воды не пить!». Поэтому сердечно предложила:

– Ну что... э-э... прогуляемся? – и получила впечатляющий ответ:

– Зачем такие сложности, когда все равно одним кончится?

Пролепетала:

– Но ведь мы... Совсем друг друга не знаем... Как же можно... Так сразу...

Услышала:

– Зачем тогда объявление давали? Так и знал, что опять зря время потеряю! – жених круто развернулся и, не прощаясь, двинулся прочь, злобно бормоча на ходу: «Во, блин, бабы... Сами не знают, чего хотят... И то им не так, и это не эдак...».

Можете считать меня кем угодно – но и мне до тридцати шести лет цветов «просто так» не дарили. Тощий хвостик дежурных мимоз на Восьмое марта или – верх роскоши – метровая роза на день рождения – вот пики щедрости мужчин до появления в моей жизни Патрика, простого, собственно, английского «бобби», приехавшего к нам для «обмена опытом» на место нашего блатного Миши, благополучно отбывшего в Лондон знакомиться с методами местной полиции. Дело это было для обеих сторон изначально бесперспективное: Патрик здесь мог только ужаснуться, а Миша там – хмыкнуть, ибо методы взаимно неприменяемы. Зато на первом нашем свидании Патрик стоял с букетом – нет, не с похоронным веником и не со свадебной охапкой – а с нормальным, милым, человеческим букетом, умело подобранным флористом. Я еще не была влюблена, и влюбляться не собиралась. Я вообще только хотела показать заморскому коллеге – такому располагающему! – открыточные красоты родного города и поговорить, возможно, о Бернсе, Моэме, Шекспире, недавно прочитанном романе Бэнкса – словом, доказать на деле, что по улицам у нас не ходят медведи, а

русские женщины давно не носят кокошников и умеют издавать какие-то другие звуки, кроме «калинка-малинка». Но когда я увидела тот букет... Скромный, в общем, ни на что не претендующий... Говорите, говорите о доступности русских женщин! А вы представляете себе собаку, которую то пинали, то держали на цепи, наконец, выгнали – и опять пинали! И вдруг какой-то человек отнесся к ней просто – нормально: погладил по крутому лбу, протянул на ладони котлетку, а потом похлопал себя по бедру и позвал ласковым голосом: «Ну, Бобик, или как там тебя... Пойдем со мной, дурачок, пойдем, не обижу...». Может, он ее заманивает – на шаверму! Но разве предположит такое коварство бедная псина? Не пойдет – преданно потрусит сбоку, забегаая вперед и заглядывая в глаза!

А женщина, привыкшая слышать на самую скромную просьбу ответ: «А ж... не слипнется?» – что должна она чувствовать, какую благодарность испытывать при виде – букета? Предназначенного ей – ни за что? Только зардеться и прошептать:

– Это мне? Какая прелесть... – и бери ее голыми руками.

Насчет медведей и кокошников очень красиво получилось. Едва мы с Патриком вышли на Дворцовую площадь и поравнялись с Александрийским столпом, как непосредственно из-за столпа вывернул нам навстречу медвежонок – как бы и не грудной, а упитанный, с богатой шкурой. Медвежонок имел намордник, ошейник с камушками, и шествовал

на поводке, ведомый вальяжным молодым человеком в дорогах джинсах. Вокруг парочки вежливо скакали иностранцы с фотоаппаратами. «Вот! – торжественно скажут они по приезде домой. – Все правда! У них там действительно медведи ходят по центру Петербурга!». Я-то смекнула, что парень, видно, цирковой артист, любитель эпатировать публику, но Патрик, постеснявшийся при мне гнаться за уникальным кадром, проводил медведя таким жадным взглядом, что мне стало ясно: он надеется запечатлеть этот образ в своей потрясенной памяти...

– Что это было? – оторопело спросил он, когда хозяин и его питомец не спеша удалились по аллейке вдоль Адмиралтейства.

Я уже успела придать своему лицу равнодушно-скучающее выражение – мол, ничего особенного, медведи – дело обычное...

– Ах, это... Ну, человек выгуливает своего «пет»...

И в этот момент прямо перед нами остановился микроавтобус, и оттуда одна за другой повалили боярышни в разноцветных сарафанах и кокошниках – по всей видимости, приехал ансамбль песни и пляски, чтобы выступить на площади, как это часто бывает... Тут уж Патрик не выдержал – схватился за фотоаппарат! Но, поняв, что сей маленький спектакль разыгран для нас свыше не просто так, я повисла у англичанина на руке:

– Что вы! Что вы! Людям может не понравиться, что вы

их фотографируете! Пришли себе погулять немножко по городу, а тут вы со своей камерой!

Потом я, конечно, все и объяснила, и рассказала, но Патрик так и остался мне благодарен за то, что я не лишила его первых естественных впечатлений...

И потекли романтические, заведомо ограниченные трехмесячным сроком наши встречи, во время которых попросту нечестно было бы говорить о любви – и его фраза на ломаном русском «Мнье карашо с тобой» прозвучала самым сокровенным признанием.

Но за все эти три месяца я так и не смогла полностью привыкнуть к тому, что к моему приходу Патрик тщательно прибирает свою квартиру (ему выделили, наскоро побелив потолок и переклеив обои, одну из конспиративных). Ведь раньше и всегда бывало наоборот! Приходишь на долгожданное свидание к милому – и что тебя ждет, не ужин ли при свечах? Как бы не так: плесневеющая гора посуды в раковине, смердящие пепельницы по углам, урожай грязных носков под тахтой, застеленной чем-то серым, – и прочие приметы присутствия настоящего мужчины в его логове...

Я не позволяла себе увязнуть в новом чувстве безвозвратно, прекрасно зная и об его обреченности, и о напрасности последующих страданий, поэтому веселилась с Патриком почти от души, старательно не замечая непреложного хода часов... В начале осени – невразумительное прощание в Пулково-2 без обещания звонков и писем, силуэт уже на-

всегда чужого человека, исчезающего в недрах зала вылета, – и не успела я выйти с коллегами из здания аэропорта, как душу мою замутило от предощущения грядущей пустоты.

А на следующий день в образцовом нашем отделении возобновились смачные избиения задержанных, приостановленные было в присутствии Патрика, регулярные вечерние возлияния, когда возвращались с обходов, груженные данью из окрестных торговых точек, – и я поняла, что с этим этапом моей невзрачной жизни пора навсегда заканчивать. Опуститься до юридической конторы моя не полностью еще покрытая корой душа не позволила – и я, наконец, решила уйти на вольные хлеба: приняла давнее, регулярно повторявшееся предложение однокурсницы переделаться из оперативников в модные частные детективы.

К тому времени душа напоминала изрядно запущенный колодец – полувысохший, со склизкими стенами и мутной пленкой на поверхности далекой черной воды.

* * *

Очень подходящая ночь – как специально нарисованная. Глухая стена ледяного позднеоктябрьского дождя. Ни человек, ни животное добровольно не покинет свою нору, если нет дела, которое нельзя отложить на потом. Но кто-то в черной куртке с поднятым капюшоном, в джинсах и высоких шнурованных ботинках имеет именно такое неотложное де-

ло. Он быстро идет вдоль абсолютно пустой, почти захлебнувшейся водой улицы, неся в правой руке большую дорожную сумку – видно, что тяжелую, потому что иногда останавливается, ставит ее на мокрый асфальт и отдыхает минуту-другую. Наконец, он сворачивает под едва заметную в свете дальнего фонаря арку и спешит во двор, стараясь держаться ближе к стенам. Там он наскоро оглядывается, убеждаясь в том, что дом намертво усыплен частым дождем, что ни одно окно не являет хищного желтого ока. Тогда человек неслышно устремляется к крайнему слева подъезду. Код не работает настолько давно, что уж и кнопки успели заржаветь. На секунду мелькает тусклый свет с лестницы, но почти сразу исчезает не только он, но и слабые проблески, идущие от лестничных окон: пришелец знает, что выключатель срезан же за входной дверью справа. В крошечной тьме он напряженно прислушивается, но напрасна эта предосторожность: слух его различает только равномерный, занудливый шум соучастника-дождя. Сдерживая дыхание, человек шагает вверх, ступая почти абсолютно неслышно – и так достигает площадки пятого, верхнего этажа. На ней только одна квартира, что сегодня имеет свое особое значение: благодаря этому обстоятельству, не пострадает никто невиновный. . . По-хорошему, следовало бы залезть на чердак и убедиться, что там не заночевал бездомный скиталец, но, когда пришедший достает из кармана фонарик и направляет голубоватый острый луч на чердачную дверь, то издает вздох успокоен-

ной совести: чердак заперт на внушительный амбарный замок и опечатан, причем видно, что печать побледнела от времени. Стало быть, на чердаке никого нет, и только тот, кому предназначено, получит этой ночью по заслугам. Ибо человек пришел отомстить.

Он много раз отрепетировал свои действия, поэтому его движения теперь четки и отлажены. В самом деле, как глупо было бы, теоретически продумав свое идеальное преступление, позорно сплеховать теперь в мелочи, провалив все дело на корню! Но нет, он много раз проверял и точно знает, что крючок, приклеенный именно этим клеем у входной двери, выдержит вес пять килограммов – а большего и не требуется. Нужно только подождать три минуты, чтобы клей успел затвердеть до каменности, но и это время уже расплано. Фонарь следует положить на подоконник – так, чтобы светил на сумку. Сумку открыть – там другая, матерчатая, что как раз и содержит в себе груз, весящий пять килограммов: это перевернутая горлом вниз пластиковая бутылка из-под питьевой воды. Горло просунуто в небольшое отверстие в дне сумки. Крышка намертво привинчена, и в нее вставлена медицинская капельница. Запах сразу же выдает, что бутылка наполнена бензином – и человек невольно морщится, продолжая, тем не менее, заниматься своим делом. Три минуты миновали, и крюк можно смело использовать. Сначала проверив его на прочность рукой в перчатке, человек осторожно поднимает сумку с бутылкой и вешает ее на крюк так,

что горло бутылки смотрит вниз. Теперь главное – не засуетиться. Он осторожно поднимает с пола уже легкую дорожную сумку и закидывает ее за плечо, потом берет фонарик и направляет его на одну из двух замочных скважин в массивной, абсолютно неприступной железной двери, окрашенной в грозный черный цвет. Эта замочная скважина отличается от другой тем, что она сквозная. Если бы там, за дверью, горел сейчас свет, то в двери сияла бы маленькая золотая дырочка. От горла бутылки вниз тянется пластиковая трубка перекрытой до поры до времени капельницы. Она недавно чуть модернизирована: игла заменена очень толстой и длинной, дающей широкую, мощную струю. Очень осторожно мститель внедряет иглу в скважину до основания и знает, что конец ее теперь выдается с другой стороны примерно на сантиметр, и струйка превратится внутри квартиры в лужицу, потом в ручеек – и весело побежит по слегка наклонному полу коридора, столкнется со стопкой газет у противоположной стены... Осталось только повернуть колесико у капельницы – и человек, поколебавшись в последней муке не более десяти секунд, решительно делает это. Трубка моментально наполняется жизнью, и человек выключает фонарик. Затем он достает из кармана телефон и сверяется со временем: начало третьего; он провел здесь не более шести минут. Время точно рассчитано. В течение двух часов бензин будет вытекать из бутылки по трубке, но присутствовать при этом чревато нежелательными встречами. Мститель снова включает

фонарик, направляя его свет вниз: невероятно смешно было бы в темноте упасть с лестницы и переломать кости – именно здесь и сейчас! Он спускается очень осторожно, внимательно глядя себе под ноги на гладкие столетние ступени...

Через два с лишним часа он опять здесь. Первым делом трогает висящий мешок – тот уже совсем легкий! Он быстро снимает сумку с пустой бутылкой с крючка, не забыв перед этим перекрыть трубку капельницы, и вынимает иглу из замочной скважины. Чувствуя, что руки начинают предательски дрожать, он лихорадочно засовывает все это в свой дорожный баул, путаясь с молнией, в которую все время попадает кусочек ткани от матерчатой сумки. Крючок теперь неотделим от стены – но это не улика: такие продаются в любом магазине из тех, где можно купить какие угодно средства и приспособления для комфортной жизни – и идеальных преступлений.

И приходит то, что у летчиков называется скоростью принятия решения. В эту секунду еще можно повернуть все вспять, еще есть возврат, еще не все фатально! Что, собственно, имеется в данную секунду? Только лужа бензина в коридоре редакции газеты «Взгляд со стороны». Ничего непоправимого. Можно отправиться домой, где, пожалуй, и не заметили, что он выходил ночью, а утром в редакции только и будет разговоров о том, откуда на полу взялось столько бензина. Обнаружат ли вообще когда-нибудь крюк у косяка двери – это еще большой вопрос... Но стоявший под дверью

человек все-таки достает из кармана зажигалку и несколько длинных, сухих и тонких палочек. Скорость принятия решения превышена, и остается только отчаянный взлет. Преступник методично поджигает соломки одну за другой, легко проталкивая их в замочную скважину. Они летят вниз, горя, и планируют прямо в бензиновую лужицу – наверно, хватило бы и первой, потому что ему сразу показалось, что в скважине что-то полыхнуло.

...Вниз он бежал, не соблюдая ни осторожности, ни конспирации. Во дворе нашел в себе силы задержаться и глянуть вверх, на те окна, где горело дело жизни человека, безмятежно улетевшего сегодня в Прагу на конференцию. Тот факт, что человек улетел, мститель проверил лично, зафиксировав, как *тот* приблизился с билетом к стойке регистрации. Его *та* не провожала. Странно, но какая разница... В окнах на пятом этаже мелькал переменчивый свет, и человек знал, что там, в коридоре, уже разгорелся бурный огонь, вплотную подступил к двери общей комнаты сотрудников – с компьютерами, мебелью, всеми материалами и половиной тиража предыдущего номера. Месть удалась, и он мог вернуться домой и спать, если получится. Спать нервным, полным неясных мрачных видений сном. Он четко увидел, что отблески в окнах стали ярче.

Человек, стремглав несшийся в пятом часу непроглядного октябрьского утра по мертвой улице к оставленной за квар-

тал машине, не знал о том, что происходило в ненавистном помещении редакции накануне, около десяти часов вечера. А в то время в кабинете главного редактора еженедельника находились двое. Один из них и был хозяином – некрасивый, полноватый и лысоватый мужчина «за сорок», с художественным лоском одетый в мягкую велюровую рубашку на выпуск. Это только на самый первый, даже на поверхностный взгляд, он был некрасив – и только. Для того, кто решил бы поглядеть на него хоть на десять секунд дольше, стало бы ясно, что с этой некрасивостью все не так просто. А уж человек внимательный не мог бы не заметить непринужденной, мягкой грации его движений, не передаваемой словами особенности повадки... Женщина сказала бы точнее: в этом человеке есть свой шарм – причем, такой, которому внешняя красота, пожалуй, и помешала бы. Немного робкая, даже как будто чуть виноватая, почти мальчишеская улыбка с где-то очень глубоко спрятанным шкодливым изгибом довершала впечатление. Мужчина стоял на коленях около дивана, где лежала девушка не более двадцати лет на вид. В данный момент красотой отличались только ее изумительные волосы – естественно светлого цвета, матерью-природой закрученные в упругие крупные локоны. Лицо ее без всякой косметики выглядело иссера-бледным, глаза слезились, нос недвусмысленно покраснел и распух; девушка не выпускала из рук насквозь мокрый носовой платок, без конца утираясь им, отчего под носом у нее давно появилось огненное пятно. Вот

уже второй день Лилию терзал беспощадный грипп, пришедший в этом году в город непредвиденно рано. Мужчина, по-видимому, не боялся злобных бактерий: он положил голову на руки прямо у подушки, рядом с изможденным лицом любимой девушки, и мягко уговаривал ее, пустив в ход все перебивы своего богатого, глубокого голоса:

– Ну, возьми себя в руки... Сделай одно только усилие... Регистрация через час закончится, и начнется то, чего я очень не люблю...

– Ты, прежде всего, не любишь меня, Олег, – раздраженным насморочным голосом отвечала Лиля. – Ты что, не видишь, в каком я состоянии? Температура, наверно, под сорок, а ты гонишь меня под дождь – и для чего? Чтобы успеть на какой-то там дурацкий самолет...

– Я гоню тебя не под дождь, а в теплую уютную машину, чтобы через четверть часа ты оказалась у себя дома, с мамой, которая стала бы тебя лечить и баловать... А там и я бы вернулся, и ты встретила бы меня здоровенькой и веселой... – терпеливо, по-котовьи, ворковал Олег; их роман находился еще в той стадии, когда мужскому раздражению нет места ни в какой ситуации.

– Да мать только и умеет, что мне на нервы действовать, – пробубнила Лиля сквозь платок. – Да пойми ты, ради Бога, что дома мне только хуже станет! И вообще, почему ты так против того, чтобы я осталась здесь?

– Дурёшка... – ласково дудел он. – Да потому, что завтра

утром придут сотрудники и увидят...

– Что я раньше всех пришла на работу, – закончила де-вушка, отворачиваясь. – И, кроме того, раз ты улетел в иди-отскую Прагу, они вообще не придут. Или, разве, часам к двум... Ну, не могу я сейчас никуда ехать, понимаешь?! Не могу – и все тут...

У Олега, собственно, было два пути, потому что он пре-красно понимал, что самолет его дожидаться не собирает-ся. Во-первых, он мог отвесить упрямыце хорошую оплеуху, тем согнать ее с дивана – и покончить на этом с собственной последней, как он был уверен, любовью. Второй путь был – позорное отступление, но это противоречило жизненным принципам Олега: ласками или угрозой, подарками или по-боями – но всегда и ото всех привык он добиваться игры по его правилам, даже в мелочах. Встала дурная дилемма: или дать слабину, или лишиться того, чего не хотелось лишаться. Он думал ровно минуту в таком ключе: двадцать четыре года разницы; красавица; дураков найдет себе еще и покрасивше, и помоложе, и поденежней – а я буду обречен на перезрелых теток, склонных к приключениям или полноте; вернуться к Агате? – после того, что было... теперь – никогда; ладно, дам задний ход – все равно, когда закреплюсь – например, обрю-хачу... будет время отыграться...

– Хорошо, Лилия моя... Пусть по-твоему, девочка... Удобно тебе так?

Ей, конечно, было удобно на мягком кожаном диване, за-

вернутой в шелковистый плюшевый плед. Олег потрогал Лиле лоб и на самом деле заволновался: ему стало очевидно, что девушка не капризничает:

– Черт, лекарств бы каких... Времени нет в аптеку...

– В сумке моей, там... – сквозь гриппозную дрему отозвалась Лиля. – Антигриппина дай порошок, и еще полосатая коробочка такая... Снотворное... Проглочу сразу две – и пусть болеть буду во сне... – она улыбнулась так трогательно, что Олег не удержался и наклонился к ней с поцелуем.

Он выключил телефон, свет, ее мобильник: пусть действительно выспится, ребенок ведь, в сущности... У него дочь ей ровесница. На прощанье коснулся губами горячего лба – и вышел.

* * *

Мама очень любила свою маленькую дочку Агату и уделяла ей столько материнского внимания, сколько не получает большинство детей, будучи при живых родителях предоставленными самим себе – под благовидным прикрытием детсадов и продленок. Двадцатипятилетняя учительница Женя родила дочь в коротком необременительном браке, в глубине души отдавая себе отчет, что и замуж-то выходила для того, чтобы неосужденно родить ребенка, желательно, девочку, и воспитать ее для себя, по себе, маминой подружкой и вторым ее маленьким «я». К браку как таковому Женя чувство-

вала не особенно тщательно скрываемое отвращение, определяя свое чувство фразой: «Это надо было перетерпеть» – как детскую болезнь или регулярное женское недомогание. Незаметно она перенесла те же критерии на воспитание девочки Агаты, поначалу ангелоподобному ребенку, порхавшему по квартире в лентах и кружевах. Постепенно, по мере возрастания дочери, из лексикона Жени (мало-помалу превращавшейся в Евгению Иннокентьевну) стали исчезать слова «я» и «она», когда речь заходила об их маленькой семье. Женя неосознанно заменяла их универсальным «мы» – и настолько с этим местоимением сроднилась, что произнести: «Я люблю корзиночки, а Агата – эклеры» становилось с годами все невозможнее, и Евгения говорила: «Мы любим корзиночки», – и только они покупались к чаю, а Агатиная любовь к эклерам растворялась в огромной материнской любви к дочери.

Вдохновенно преподавая русский и литературу в средней школе, Евгения Иннокентьевна, само собой разумеется, с младых ногтей приохотила юную Агату к чтению – и не какому-нибудь там бессистемному и хаотическому, а строго определенному: предполагаемое к прочтению произведение заранее преподносилось образованной матерью в определенном ключе, ненавязчиво готовилась правильная почва для восприятия. После того, как дочь прочитывала книгу, Евгения обязательно находила время подробно обсудить ее, добиваясь максимального осмысления и нежно настаивая на

своём, если девочка вдруг осмысливала что-то не по-матерински. Суждения Агаты, правда, иногда шокировали мать, но она списывала их на неизбежное влияние разношерстного школьного коллектива. Очень неприятно поразило ее однажды высказывание дочери о самоотверженном подвиге Татьяны Лариной:

– Мама, она, по-моему, просто дура.

Евгения вспыхнула:

– Во-первых, мы давно договорились, что не произносим вслух – и, желательно, про себя – таких вульгарных слов... – (Это было маленькой педагогической ложью: ни о чем таком они не договаривались, а просто мама однажды ненавязчиво намекнула дочке на то, что «в нашем доме такие высказывания не приняты»; к слову сказать, кроме них двоих, в их доме никого не было). – А во вторых, все-таки объясни, пожалуйста, почему ты считаешь Татьяну... неумной?

– А зачем она из глупой гордости и себе, и Онегину жизнь испортила? – задал долгоногий подросток закономерный вопрос.

– Ну, ведь он сам от нее вначале отказался – и так жестоко! – парировала мать очевидной ей сентенцией.

– А, по-моему – так не жестоко, а очень даже порядочно! Мог ведь взять – да и... Как ты это называешь... воспользоваться... Тем более, что она ему сама написала: «Я твоя». А он честно поступил: не понравилась ему девушка – так и сказал, причем, вежливо, не обидел...

– И все-таки жестоко. Представь себе: девушка, юная, переступает через себя, признается в любви... В те времена это было – знаешь чем?! А он в ответ – назидание. Ну, разве не жестоко? – потихоньку гнула свою линию Евгения.

– Ну, не нравилась она ему! Что он, должен был на ней жениться? А потом, когда повзрослела и похорошела, – понравилась. Сначала ошибся человек, не разглядел... Что, не имеет он права на ошибку?

«Конечно, не имеет!» – так и захотелось воскликнуть Евгении, потому что она признавала только жизнь по высокому счету, не допускающему никаких сбоев. И вообще, ее больно кольнуло то, что малолетняя Агата встала на защиту мужчины – то есть изначально потенциального делателя зла молодым девушкам. Но говорить обо всем этом было бы и непедagogично, и преждевременно, поэтому Евгения спокойно, как на уроке, разъяснила:

– Его ошибка, тем не менее, имела свои последствия. Неправимые последствия. Татьяна вышла за другого, и Онегин больше не имел никаких прав ни на какие признания. Он безвозвратно упустил свой шанс и...

– А, ерунда... – с неожиданным легкомыслием перебил ребенок. – Она его все это время любила, он тоже понял, что любит, – так отчего бы им не пожениться?

– И разбить сердце ни в чем не повинному князю, мужу Татьяны? – кинула последний грозный козырь Евгения.

– Сам был бы виноват! Нечего было на молоденькой же-

ниться, раз старик! – страстно, как о чем-то выстраданном, прокричала дочь. – Это он ей жизнь загубил тем, что женился, эгоист! Он только себе счастья хотел, иначе понимал бы, что ее счастья не составит! И если б Татьяна ушла к Онегину, вот ни на столечко бы этого генерала не жалко!

Евгения была поражена. «Что я упустила в ее воспитании?» – ожгла быстрая мысль. Она едва сохранила спокойный тон:

– Ну, а ты... Что бы ты сделала в такой ситуации?

– О, я... – и на розовом личике девочки мелькнула вдруг мечтательно-злая полуулыбка. – Уж я бы не стала мучиться с противным старикашкой, если б тот, кого я годы любила, пришел и позвал меня! Я бы ушла с ним и узнала, что такое настоящее счастье, я бы...

– Подожди! – перебила мать, забыв уже об изначальной литературности спора и думая лишь о том, что перед ней – девочка, в которой готова сформироваться сомнительная установка. – Подожди! А если бы у него, Онегина, это оказалось мимолетным порывом? Если бы через месяц этот порыв прошел, и он снова превратился бы в скучающего циника, а Татьяна бы всю жизнь разрушила, свою и мужа?

– Зато этот месяц – один месяц! – своей жизни она была бы по-настоящему счастлива. А так – не была счастлива вообще никогда, – убежденно провозгласила дочь.

Евгения прочла целую лекцию. О долге, о совести, о чести, о жертвенности. О том, какими обязаны быть порядоч-

ные люди. О том, во что превратится мир, если каждый будет делать то, что захочет. Она говорила красиво, убедительно, напористо – и сумела пристыдить не вставшую еще, но ужеглянувшую на скользкую дорожку юную душу. Наконец, сочла возможным риторически спросить:

– Ну, теперь ты со мной согласна? Убедила я тебя? – и услышала то, что ожидала:

– Согласна, мама, – а торжества не было: дело в том, что Евгения не сумела убедить лично себя.

Ребенок еще полностью находился во власти непоколебимого родительского авторитета, но как ответить самой себе на вопрос: а зачем все это – долг, честь, совесть, жертвенность, когда жизнь проходит мимо, верней, протекает серым ручейком, – и не послать ли... подальше... всю эту жертвенность вместе с честью ради одного, но ослепительного месяца, или даже только часа – но абсолютного счастья? Как просто было раньше, когда верили в Бога! Можно было бы ответить: эта жизнь здесь – ни серая, ни черная – ничего не значит. А значит только жизнь – вечная, и это ради нее не ушла Татьяна за Онегиным... Потому что Бога боялась и вечности хотела – светлой, куда бы не пришла с ним... Но такого не скажешь ведь ребенку, да и самой себе поостережешься – а вот поди ты! Без этого все самые высокие, самые чистые и прекрасные поступки теряют смысл.

Поразмышляла обо всем этом сорокалетняя Евгения Иннокентьевна – да и отложила мысли такие в сторону: живем

сейчас, исходить надо из сегодняшних реалий и воспитывать детей для завтрашнего дня и самостоятельной жизни... Самостоятельной? Евгения вздрогнула. Нет, в таком обществе, где того и гляди рухнет все устои, если уж и самое святое и чистое – образ Татьяны Лариной! – можно дерзнуть опорочить... Нет уж, полной самостоятельности в таком мире неопытным душам лучше не надо... Да ничего, это ведь подростковый возраст... При правильном руководстве гладко минует период ершистости, и вернется дочка к маме, в их уютное «мы»...

– Мы ходим в Капеллу по абонементу – там так хорошо!

– Мы любим проводить лето только в средней полосе России – так здоровее!

– У нас особый круг друзей, избранный; мы никогда не приглашаем на наши праздники молодежь – она теперь такая разнузданная!

– В нашем доме терпеть не могут грязи, которую разносят всякие животные!

– Нам не нужно в квартире никаких мужских носков!

Не научившись познавать физическую радость от любви, Евгения инстинктивно представляла мужчин носителями низменных инстинктов, на все готовых ради их удовлетворения, и невольно прививала дочери взгляд на взрослого мужчину как на возможного насильника, а на юношу – как на соблазнителя, который обязательно «попользуется», а потом «бросит девушку наедине с ее горем».

Какого будущего хотела она для Агаты? О, самого идеального. Лучше бы, конечно, обойтись безо всяких мужчин – но как тогда быть с внуками? Уж очень хотелось Евгении на склоне дней поагукать над еще одной кудрявой головкой, позаплетать косички, покатаать нарядную колясочку... Да и комплекс старой девы может развиваться, если вообще без мужчины... Значит, придется Агаточке это перетерпеть – что поделаешь.

Иногда, перед самым засыпанием, когда Евгения, угревшись и унежившись в постели, позволяла себе помечтать, вставала перед ее внутренним взором мирная картина домашнего счастья.

Вечер. На улице суровая зима, завывает метель, а в их квартирке тепло и уютно. Чуть постаревшая, но очень благородно выглядящая, с тяжелым узлом немного поседевших волос, Евгения Иннокентьевна сидит за круглым столом, покрытым нарядной тканой скатертью, под круглым матерчатым абажуром. Напротив нее – вполне взрослая, очень милая Агата, тоже гладко причесанная, в аккуратной домашней блузочке с кружевным воротничком. Обе женщины проверяют тетради, время от времени зачитывая друг другу ученические перлы. «Мама! – задорно восклицает Агата. – Ты только послушай, что Иванов пишет: "Конь под Печориным пал и громко зарыдал на всю степь"», – и обе они, мать и дочь, от души смеются. На столе дымятся чашки с чаем, красуются вазочки с разными сортами домашнего варенья, в

хрустальной конфетнице – аппетитное печенье собственноручной Агатиной выпечки... Рядом со взрослым столом – столик поменьше. За ним, склоняя очаровательную головку то на один бок, то на другой и высунув от напряжения розовый, как у котенка, язычок, рисует семилетняя девочка: «Вот это мамуля, вот это бабуля, вот это наша дача, вот это солнышко светит, а вот это, с цветочком в руке, – я стою». Откуда взялась внучка – это Евгения Иннокентьевна уже придумала: Агата недолго пробыла замужем, муж стал плохо относиться к ней и ребенку, она развелась, навсегда разочаровавшись в браке и мужчинах, и вернулась с маленькой доченькой под надежное мамино крыло. Теперь она, как и ее мать когда-то, посвятит себя воспитанию малышки Эльвиры... или Элеоноры... Нет, пусть лучше Эльвиры, Элеонора слишком длинно... Красивое имя, а то всякие там Даши, Маши, Наташи... Простецки как-то... Да, так вот... «Элечка, ты хорошо выучила стихотворение, которое вам задала учительница?» – с любовной строгостью спрашивает бабушка. «Конечно, бабулечка! – с радостной готовностью лепечет девочка и сразу же начинает нараспев: – На прививку, первый класс! /Вы слышали – это нас! /Я уколов не боюсь!/Если надо, уколюсь...» – И Агата тоже, оторвавшись на минутку от очередного сочинения, с умилением смотрит на маленькую старательную дочку, периодически горделиво переглядываясь с собственной матерью: вот какую красавицу и умницу они вырастили совместными усилиями!

Очень долго в этом предсонном видении мелькала и огромная пушистая кошка, мирно свернувшаяся клубком на стуле, и Евгения всякий раз прилагала специальное усилие для того, чтобы в своей картинке заменить кошку подушкой: микробы все-таки, а в доме ребенок! Но каждый вечер, стоило только мечтательнице закрыть глаза и вызвать перед внутренним взором любимую сцену из будущего, как кошка упорно возвращалась на свое место, иногда даже нагло приоткрывая огромный янтарный глаз, – и Евгения мысленно махнула рукой, оставив кошку как символ уюта: не обязательно же тащить ее потом в грядущую реальность!

Но пробуждения со временем все реже и реже радовали Евгению Иннокентьевну. Первой бомбой стала обновка, купленная дочкой самостоятельно на деньги, полученные за летнюю школьную практику после девятого класса. Не спросив у матери, Агата сговорилась с девочкой, чьи родители имели доступ в «Березку», и приобрела чеки по спекулятивной цене. Вскоре она вертелась дома у зеркала в платье... мандаринового цвета! И в таких же босоножках! Хуже того, у другой подружки девчонка выпросила грубую бижутерию – бусы и браслет «под янтарь» в сочетании с аляповатыми металлическими бляшками. И это после того, как они решили, что вместе поедут в Дом тканей, выберут отрез легкого шелка или крепдешина с нежным девичьим рисунком и торжественно отправятся с ним в ателье, где и закажут для Агаты первое «настоящее» платье: так, чтобы основательно,

с подробными размерами, с примерками, с ее материнским любованием своим начинающим оперяться птенчиком, смущенно застывшим среди «взрослых» зеркал...

– Что это... – пролепетала оторопевшая Евгения. – Что это за... новогодняя игрушка... – и взяла себя в руки: – Не узнаю тебя, Агата. С каких это пор в нашем доме наряжаются в костюмы... уличных девиц?

– Ничего не уличных! – вспыхнула дочь. – Просто у меня свой вкус, вот и все! Почему я все время должна одеваться так, как нравится тебе? Почему я не могу на собственные деньги купить что-то по своему вкусу?

Тут уж вспылила Евгения:

– Не выдумывай! Во-первых, какой еще «свой вкус»?! Нет никакого «своего» вкуса, а есть хороший вкус и дурной! А во-вторых, какие такие «свои» деньги?! Пока тебе пятнадцать лет, изволь советоваться со мной относительно любых поступков! Любых! Тем более что эти «свои» деньги ты только что выкинула абсолютно напрасно: ты ведь не можешь рассчитывать, что я выпущу свою дочь из дома, одетую, как огородное пугало?

Было много обоюдных горьких слов и слез с последующим бурным примирением. В сотый раз повторила Евгения дочери общеизвестные постулаты о том, что лучшее украшение девушки – это скромность и нежность; что платье или блузка должны иметь благородный цвет – жемчужно серый, кремовый, топленого молока, – а в торжественных случаях

возможен салатový, небесно-голубой, коралловый; что когда девушка из хорошей семьи хочет как-то украсить себя, то единственно позволительное для нее – это надеть на свою стройную шейку тоненькую цепочку и скромные часики на хрупкое запястье; что, наконец, в одежде, подобной купленной сегодня, Агата сразу начинает походить на Катерину – а ниже этого уж и падать некуда. Голос матери звенел от горя, что у нее растет такая никудышная дочь; в глазах, светло-голубых до прозрачности, стояли святые серебряные слезы – Агата, разумеется, не могла выдержать такого натиска, и, кроме того, ее обидно задело сравнение с проклятой Катериной. Рыдая, девочка кинулась во всепрощающие материнские объятия.

Катерина была одной из воспитательных плеток, которыми пользовалась Евгения Иннокентьевна в тех редких случаях, когда политику пряника считала необходимым переменить на кнут. Речь шла о родной сестре Агатиного отца, не пытавшегося, к счастью, увидеть брошенную им дочку и в добровольно-принудительном порядке платившего алименты небольшие, но достаточные для покупки то недорогого велосипеда, то не шикарного, но милого пальто. Старшая его сестра Катя казалась молодой Женечке воплощением того, как не надо жить. Прежде всего, она не ходила на работу, как это делают все порядочные люди на свете, а у себя дома, отоспавшись как следует и наложив на щеки изрядное количество польского крема, за которым у нее всегда было

время съездить в «Ванду», посвящала два-три часа изготовлению уродливых, по мнению Жени, кукол, коих потом развозила по художественным салонам, где имелись у прониры хорошие связи. В результате того, что темные, неразвитые люди зачем-то тратили свои деньги на покупку этих пошлых поделок, Катерина выручала в месяц сумму, на порядок превосходившую ту, что получала в кассе честная трудолюбивая учительница – при полной нагрузке и с доплатой за ночную проверку тетрадей и подневольное классное руководство. Кроме того, Катерина состояла в третьем законном браке, имея возраст всего около двадцати восьми лет, что доказывало ее позорную внутреннюю и телесную зависимость от мужчин и не могло не вызывать Женечкиного презрения.

Внешний вид золовки наводил ужас и переворачивал все человеческие представления об элементарных приличиях: то цитрусовое платье, притащенное наивным ребенком из «Березки», как раз и было в ее духе, как и разные – красные, бирюзовые и даже золотые! – кушаки, туфли, яркие платки, обернутые вокруг бедер, полукилограммовые кольца в ушах и десятки браслетов, перстней, висюлек... Невероятно странно – но такая опереточная внешность не отталкивала от Катерины мужчин, а, наоборот, притягивала, как мошкару на ночник. «Это потому, что, несмотря на ее замужнее состояние, они чувствуют в ней даму легкого поведения», – решила для себя Женья.

Для полного завершения «образа врага», хотелось бы ей,

конечно, видеть Катерину легкомысленной вертушкой, помешанной на безвкусных тряпках и побрякушках, неспособной и двух слов связать. Но, к сожалению, в этой области вышла обидная неувязочка: родственница блистала не только нарядами, но и умом, и отрицать это означало бы показать себя ограниченной невеждой. Катерина непринужденно изъяснялась на английском и французском, едва ли не наизусть знала классику, включая сюда и ту самую сложную часть Достоевского, которую не осилила даже Женя, и вполне здраво судила о любом доступном современном произведении, зарубежном или отечественном. Обиднее всего было то, что учитель литературы Евгения Иннокентьевна подчас пасовала в споре с ней – и тем меньше импонировала ей Катерина со своим насмешливым резвым умом, спорными, но интересными суждениями, цепким летучим взглядом иссиня-серых, завидными ресницами затененных глаз...

Обо всех этих своих смущениях Евгения, конечно, не распространялась при дочери, лишь обрисовав ей клоунские одежды и манеры тети, а самобытность ее природы невольно представив в рассказах как непозволительную распущенность, граничащую с аморальностью. Сравнение с Катериной со временем стало высшей педагогической мерой наказания – вроде пощечины, призванной немедленно привести дочь в чувство.

– Ну, вылитая Катерина! Вот они, гены! – с почти натуральным ужасом восклицала Евгения, когда слышала в ин-

тонации растущей Агаты железные нотки самоуверенности или замечала ее слишком пристальный взгляд на алые перчатки, выставленные в витрине, – и девочка немедленно съезжалась, как от удара: в сознании ее давно прочно засела уверенность, что тетя Катя, общения с которой до сих пор так счастливо удавалось избегать, – сущее чудовище, сравнение с которым является горьким оскорблением.

Нет! Евгении удастся воспитать дочь таким образом, что она станет испытывать отвращение к подобным людям и образу жизни. Девочка вырастет скромной, трудолюбивой и почтительной, окончит педагогический институт, как и мама, благо литературные способности унаследовала неплохие, а там можно будет подумать и о том, чтобы исподволь подтолкнуть ее к браку с приличным юношей, сыном кого-нибудь из проверенных подруг. Вот, например, Юра, Валин сын, – чуть Агаточки постарше, симпатичный, положительный, поступил в Корабелку, молчун, учится хорошо, по дискотекам не носится... Ну, да это рано, это мы еще решим, а сейчас нам бы только подростковый возраст благополучно проскочить...

Некоторые рычаги безотказного управления дочерью Евгения уже нащупала – и тактично, в меру, пользовалась ими, не пережимая, но и руку держа всегда на пульсе.

Одним из таких рычагов было слово «фантазия» – под него легко списывались все девичьи взбрыки, потому что шли они, конечно, от мечтательности, свойственной юности

в целом.

– Когда я вырасту и закончу институт, – философствовала Агата за вечерним чаем, изначально предназначенным ее матерью для ненавязчивой инспекции и коррекции дочернего внутреннего мира, – я поселюсь отдельно от тебя: ну, сначала сниму комнату, а потом видно будет, может быть, удастся вступить в кооператив... И заведу себе кошку... нет, кота... нет, двух, чтобы они мне мурлыкали и чтобы их гладить. А спать я буду не на тахте, как сейчас, а куплю себе такой большой широкий матрас – и положу его прямо на пол, застелю плюшевым покрывалом под леопарда! А еще у меня будет такой низенький-низенький столик для кофе, а на нем – такие крошечные чашечки с блюдечками... И вообще, я накоплю много всяких фигурок, вазочек и расставлю их по маленьким черным полочкам, которые развешу лесенками... Книги? А книги у меня будут лежать просто на полу, стопками... То есть, на ковре. Потому что у меня будет такой огромный – во всю комнату! – ковер, пушистый, так что я по дому буду ходить только босиком... И еще, я подстригу волосы до плеч и сделаю шестимесячную завивку, буду ее закручивать в крупные локоны – и так ходить, как Алфёрова в «Трех мушкетерах» только короче... Да, еще у меня будет большой трельяж – такой, знаешь, с тремя зеркалами, полированный, в нем – много-много ящичков, а в них всякие украшения, и коробочки, и... – и в целом картина вырисовывалась такая тошнотворная, что Евгении снова и сно-

ва хотелось выкрикнуть: «Ну, вылитая Катерина!» – но она сдерживалась, не желая ранить фантазирующего ребенка, в упоении мечты позабывшего, что на картине, изображающей идеальное бытие, щедрыми мазками пишет как раз тот образ, который давно является вечерней страшилкой. И Евгения бралась за проверенный рычаг:

– Какая же ты фантазерка! Надо же, какая у тебя развитая фантазия! – ибо важным было соединить все эти негативные образы с ощущением их нереальности, чтобы фантазия однажды не перешла в цель, стремление к которой перебить будет уже труднее.

Наступали новые дни, мчались месяцы, подбираясь к выпускному балу и неся с собой новые огорчения. Совершенно определенно стала, например, замечать Евгения, что даже сам внешний облик взрослеющей дочери начинает пугающе напоминать черты той, вычеркнутой семьи. Откуда-то появились вдруг на лице девочки почти Катеринины пухлые до развратности губы, заменив собой аристократически строгий рот материнской породы, округлилось и само личико, заиграв простонародным румянцем вместо сдержанной матовости, тело по мере созревания превращалось не в хрупкое девичье, а сразу в призывно женское, с вызывающими округлостями. Все это несказанно огорчало Евгению, потому что вместо невинно-молочного козленочка, каким мечтала мать видеть дочку в раннем девичестве, рядом с ней в квартире незаметно оказалась здоровая эротичная тетка, ко-

торуую уже почти невозможно было обнять, чувствуя хрупкие косточки, или зарыться лицом в пахнувшие солнышком волосы... Теперь эти волосы пахли ароматным дешевым шампунем и еще чем-то неуловимо гадким для целомудрия, но, вероятно, очень притягательным для похотливости...

«Как же так?! – металась Евгения наедине с собой. – Почему и воспитание, и постоянный пример всегда были исключительно положительными, прочно, вроде, прививались соответствующие убеждения, а получилось... А что, собственно, получилось?».

Ничего особо страшного пока не наблюдалось. Сходив на две-три дискотеки, дочь раз и навсегда потеряла к ним интерес (хоть и лихо отплясывала на выпускном, покоробив чувства матери), много читала на родном языке и пыталась – по-английски, без усилий неплохо училась, получив вполне достойный, но странный аттестат: без четверок, но с пятью тройками – по алгебре, геометрии, физике, химии и физкультуре – и те учителя натянули из уважения к коллеге. Остальные отличные отметки обеспечивали аттестату достойный средний балл, и жизнь продолжалась.

– Я уже выяснила все насчет приема документов в педагогический... Да и договорилась насчет тебя, собственно, что уж скрывать... Сама знаешь, сколько у меня там знакомых. Но это не должно тебя смущать: в наше время, да порядочному человеку... ты понимаешь. Но экзамены ты будешь сдавать со всеми наравне, и, если уж совсем провалишься, то-

гда, конечно, ничего не гарантируют, но с твоими способностями, надеюсь... – Евгения говорила обо всем этом как о решенном деле, и чуть не поперхнулась, когда Агата вдруг ее перебила:

– Извини, мама, но я решила поступать не в педагогический, а на факультет журналистики. Помнишь, мы с тобой все писали письма то в «Пионерку», то в «Комсомолку», вроде статей, – ты еще говорила, руку набить, – а их печатали. Так вот, я выяснила, что для творческого конкурса этого хватит, а экзамены...

Евгения обрела утраченный было дар речи:

– Подожди... Но мы же давно решили, что у нас будет династия учителей. А журналистику мы тоже обсуждали как вариант и пришли к выводу, что эта профессия – продажная... Не для благородных людей... И вообще, не женская. Мы отмели этот вариант, как и несколько других, потому что посчитали, что...

– Ничего мы не посчитали! – вдруг почти грубо крикнула дочь. – И ничего не отмели, не решили, не пришли к выводу! Все сделала ты! Ты одна! И очень ловко подсунула мне это «мы», чтоб я не думала, что ты навязываешь мне свою волю! Но я не хочу быть учителем! Я не хочу учить литературе и русскому детей, я их терпеть не могу! Я хочу писать сама, и чтобы меня читали!

– Как это... детей терпеть не можешь... – обомлела в Евгении мать и учительница – и она сразу поняла, что пора пус-

кать в ход «тяжелую артиллерию». – Вот что. Я вижу, ты себе многое просто внушила. Внушение – великая вещь. Делай, что хочешь, – но не занимайся самовнушением: это приведет тебя к жизненной трагедии.

Фраза «Ты сама себе это внушила» была еще одним рычагом воздействия на дочь, срабатывавшим без сбоев. Этой фразой, оперевшись на собственный родительский авторитет, можно было с легкостью сокрушить любые наивные дочкины аргументы. Внушила – и все тут, а мать лучше видит, что есть на самом деле. Внушила себе, что хочешь стать журналистом, а на самом деле дорога тебе одна – в педагогику; внушила себе, допустим, что тебе нравится какой-то мальчик, а на самом деле он ничем не выделяется; внушила себе, что нужно остричь волосы, а на самом деле тебе так к лицу гладкая прическа... Внушила себе! Этим и объясняются все недоразумения.

Скандал в тот день произошел такой, что Евгении впервые показалось, что она не любит собственную дочь. Потому что невозможно же любить эту чужую девушку, так противоестественно отталкивающую идеалы, терпеливо прививаемые матерью вот уже семнадцать лет – да и внешне теперь так далекую от идеала... Но опять все разрешилось сладкими рыданиями и объятиями, а наутро мать и дочь с покрасневшими глазами, под руку, отправились подавать документы в знаменитый «Герценовский», всегда считавшийся приемлемым компромиссом для неудавшихся литераторов,

художников и ученых, смирившихся с тем, что они будут заниматься пусть и не напрямую любимым делом, но хоть чем-то, похожим на него...

Евгения одержала уверенную и очень важную победу, не позволив дочери в самом начале оступить, неправильно заложить фундамент скромного, но надежного дома под названием жизнь. Сама судьба благоприятствовала ей: те же добрые знакомые, что так удачно толкнули Агату на первый курс факультета русского языка и литературы, зазвали и саму Евгению на случайно вакантную должность преподавателя – и она радостно уцепилась за вдвойне, нет, тройне выгодное и очень лестное приглашение. Во-первых, школа и как-то подозрительно быстро забывающие в последнее время подобающее место ученики потихоньку стали раздражать Евгению. Во-вторых, возможность непосредственного догляда за взрослеющей дочерью несказанно радовала тревожное материнское сердце. А в-третьих, отвечать на вопрос: «Где вы работаете?» небрежным: «Читаю языкознание и русский в вузе» представлялось гораздо более заманчивым, чем скромно отвечать: «Я учительница в школе».

Все складывалось хорошо: вновь, как и встарь, поутру ехали мама с дочкой к одной цели на троллейбусе, да и вечером частенько удавалось подгадать время так, что и домой возвращались вместе, оживленно делясь впечатлениями прожитого дня.

Агатин бунт и порыв на сторону, в неведомую журнали-

стику, прошел, как не было, вместе с подростковым возрастом. Казалось, она и думать забыла о глупой детской стычке с мамой и теперь с удовольствием училась в выбранном ими вместе институте – как всегда, не самая первая в учебе (и слава Богу: первые ученицы, в основном, сумасшедшие), но и далеко не плетясь в хвосте. Евгения вовсе не была строгой матерью и порой позволяла дочке порезвиться в меру, пошутиться с подружками – и втихомолку радовалась, что соблазнов почти никаких: факультет на сто процентов девичий, не какой-нибудь журналистский, где половина студентов – незакомплексованные взрослые парни, только и ждущие случая испортить девчонку. А той – много ли надо! Зовут дуреху, подпойт – и готово дело. Как она была права тогда, летом, что не сдалась, не пошла у своего несмышленища на поводу! У несмышленища, в свой срок захотевшего романтики...

Против одного только решительно восставала Евгения: против походов Агаты с девчонками в военные училища на танцы. Младшие курсы не для того предназначены, тут всякие свиданки просто бессмысленны: курсант скоро станет лейтенантом, уедет по месту службы, и поминай, как звали, а у девочки – рана на сердце. Успеется, замуж нужно выходить, получив образование, следовательно, задумываться об этом придется не раньше последнего курса. И уж конечно, не из будущих защитников Отечества искать пару девочке! Все наслышаны о судьбе офицерских жен, спасибо. Дочери

врага такого не пожелаешь.

– Зачем нам такой жених? – на всякий случай исподволь внушала Евгения за всегдашним вечерним чаем. – В Ленинграде его не оставят, зашлют, куда Макар телят не гонял. И ты, моя девочка, привыкшая к накрахмаленному постельному белью, горячему душу, полноценному питанию, – поедешь с ним куда-то в грязь, холод, вечную мерзлоту? В какой-нибудь вшивый вагончик? И будешь ведра воды ледяной таскать на коромысле, греться у трамвайной печки? А муж? Да никогда не слышала я про такого солдафона, чтоб не пил. Когда все эти первые ахи-охи-вздохи пройдут, то он в два счета и руку на тебя поднимет. А если ребенок? Ребенок должен расти в нормальных человеческих условиях, как ты у меня росла, ходить в хороший садик, в школу, а там что? В общем, дочка, пусть твои девчонки глупые бегают на эти танцульки. Добегаются на свою голову до того, что на втором-третьем курсе станут матерями-одиночками и из института повылетают. Разве не обидно? И ты постарайся не попасться, не сделай глупость, даже глядеть не начинай в ту сторону – несчастий потом не оберешься...

В целом, жизнь текла ровно и правильно, и длинные зимние вечера понемногу стали походить на те, из давних мечтаний: тот же круглый стол, лампа с зеленым абажуром, домашнее варенье в вазочках, тонкий парок над чаем... Евгения проверяла теперь, слава Богу, не плоские детские сочинения, а студенческие работы – тоже, конечно, не гениаль-

ные, но все рангом повыше. Дочь сидела за столом со своими заданиями и конспектами. Был, конечно, у нее в комнате свой секретер со всем необходимым, но ведь уютней же так – у мамы под бочком, да и по ходу дела мимоходом подсказки спросить... Неточности, разные мелкие несовпадения с мечтой тоже имели место, как приятные, так и не очень, но Евгения, будучи человеком трезвым и отнюдь не греша открытой сентиментальностью, хорошо понимала, что требовать от жизни совсем уж полного тождества с идеалом – дело, по меньшей мере, неумное и зряшное. Так, положительным моментом была все-таки подушка на сиденье того уютного полукреслица, откуда насмешливо мерцал в мечте фосфоресцирующий кошачий глаз. А в вопросе приобретения всего живого, имевшего более двух ног, Евгении удавалось всю жизнь сохранять твердокаменную позицию – и вовсе не путем прямых непрекаемых запретов, коими иные родители навсегда отталкивают от себя детей.

– Помнишь, мы с тобой читали у Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили»? А вот мы с тобой разве готовы взять на себя ответственность за животное? О нем ведь надо заботиться, кормить, следить, чтоб было ему всегда хорошо, а у нас? У нас несчастный зверь будет с утра до вечера сидеть один в доме. А если, не дай Бог, заболит? А вдруг умрет? К животным ведь люди тоже привязываются, как к членам семьи... Зачем покупать себе потенциальное горе?

Евгения очень гордилась тем, что всегда умела избегать

в воспитании прямых приказов или запретов, и действовала путем мягкого ненавязчивого убеждения. Ей всякий раз удавалось, минуя обычные ребячьи заслоны, попасть прямо в душу дочери и воздействовать непосредственно на месте, умело играя на клавишах то долга, то совестливости, то вины, то жалости... Да, конечно, кошка не приобреталась в конечном счете не из-за того, что разносит вездесущую грязь по квартире и дурно припахивает, а потому что ей, бедняге, будет одиноко без любимых хозяек весь долгий день.

На этом приятные отличия заканчивались, а крупной неприятностью реалий явилось то, что вовсе не гладкая прилежная головка в стиле тургеневской барышни усердно склонялась над тетрадкой, а некое подобие кочана цветной капусты, потому что однажды под свой день рождения Агата все-таки посмела проявить своеволие и отстригла косу тайком, заменив ее локонами в чисто Катеринином духе.

– Как же можно было делать такое, не посоветовавшись?! – ахнула мать, увидев вечером сие безобразие, окончательно превратившее облик Агаты из индивидуального, строгого, в стандартно-модный.

Под словом «посоветоваться» всегда подразумевалось – спросить разрешения, но таких унижающих достоинство ребенка выражений Евгения тоже старалась не допускать, потому до сих пор Агата и «советовалась» с нею насчет каждого своего шага, держа таким образом мать полностью в курсе даже самых тайных помыслов и смутных движений души. А

ведь скажи мама: «Спроси разрешения!» – и навсегда лишилась бы дочернего доверия в тот же день.

– А я и так знала, что ты будешь против, зачем советовать-то? – резонно спросила, в свою очередь, Агата.

– А раз знала, то значит, ты... хладнокровно... меня – ранила? – сразу же безошибочно нажала на клавишу совести Евгения. – Ведь ты же знала, как мне больно будет видеть тебя стандартной, как все девчонки!

– Мама, я не ожидала, что ты примешь все так близко к сердцу... – пробормотала озадаченная Агата, никак не ожидавшая, что для матери вид ее остриженных и завитых волос станет чем-то большим, чем незначительная неприятность; а оказывается, она причинила матери мучительную боль! Ох, лучше б она этого не делала...

– А как же мне не больно! – с горечью произнесла Евгения. – Как же не больно, если моя единственная дочь пошла на поводу у низменной толпы! Утратила свою неповторимость! Чем ты теперь отличаешься от своих одноклассниц? Раньше было так: ты – и все остальные. А сейчас – одна серая масса, из которой ты ничем, решительно ничем не выделяешься!

– Конечно, если и одежда у меня, в основном, серая! – попробовала колко огрызнуться дочь, имея в виду свое очаровательное рабочее платье, чуть серебристое, с мягким воланом по подолу.

– Хорошо, скажем так: пестрая масса, – парировала мать.

– Хорошо, что есть хоть что-то, самое последнее, чем ты можешь выделиться в лучшую сторону: хорошим вкусом хотя бы в одежде, ели уж не смогла сохранить достойную прическу!

– Ну что же мне теперь делать! – почти в отчаянье, подсознательно запрограммированном матерью, воскликнула Агата. – Волосы ведь обратно не приклеишь! И не распрямишь!

– Что поделаешь... – горестно покачала головой Евгения. – Похоже, и тебе придется переболеть этой всеобщей девичьей болезнью – стрижкой. Хоть и надеялась я, что ты окажешься умнее, но... – и она выразительно щелкнула пальцами, добывая сомнения, могущие еще гнездиться в душе девочки. – Что уж теперь... Просто давай договоримся, что больше никаких таких экспериментов без моего совета не будет... Мы их отрастим, а там посмотрим, хорошо?

И они, разумеется, договорились.

Что касается третьей неточности жизненной картинки, то устранить ее казалось трудней всего. Для этого Агате требовалось переболеть еще одной всеобщей девичьей болезнью – влюбленностью, а Евгении – перестрадать тот факт, что ее невинная, несмотря на все свои подростковые «закидоны» девочка – в стыде, ужасе и отвращении будет лежать под потным хрюкающим самцом, а потом одна, без мамы, среди чужих и равнодушных морд под белыми колпаками, станет в муках рожать малышку-доченьку, которая и займет

через несколько лет свое законное место за журнальным столиком, с акварельными красками и альбомом для рисования. Все это будет уже после того, как Агатины курсовые сменятся стопками ученических тетрадей, а волосы ее отрастут и вновь улягутся в аристократический узел.

Евгения прекрасно понимала, что как ни оберегай дочь, как ни оттягивай время, а все-таки однажды наступит тот неизбежный день, когда дочь влюбится, и... А такой ли уж неизбежный, собственно? Ведь удалось же Евгении оградить дочь от разлагающего влияния подружек – всяких там Тань, Мань, Лен... Нет, она, конечно, полностью Агату от общения со сверстницами не ограждала, просто каждый раз ненавязчиво указывала ей на то, почему очередная кандидатка в подруги ни в коем случае не может ею оказаться.

– Ты посмотри, из какой Даша семьи! У нее же папа – сантехник! Милая моя, да я никогда не поверю, чтобы в этой семье не пили! А значит, у Даши твоей одна дорога...

– Ты думаешь, зачем Катя с тобой дружит? Да она просто приноровилась списывать с тебя задания! А вспомни, когда ты заболела – она только один раз пришла тебя навестить, с единственным яблоком, хотя ее родители – обеспеченные люди!

– Эта Оля твоя – законченная вертихвостка! Ты посмотри, у нее ногти, кажется, уже намазаны – что из нее дальше-то будет! Представляешь, чему она тебя научит?

Нет, Евгения вовсе не была бы против дружбы дочери с

хорошей, чистой девочкой из приличной семьи – но что-то не встречались на их пути такие девочки! А встречались то жадные, то легкомысленные, то из совсем простых семей. Поэтому Агата закономерно предпочла иметь лучшей подругой – маму: она, по крайней мере, не предаст, не станет искать корысти. Может быть, лучше, чтоб и влюбленность с неизбежными разочарованиями обошла стороной? Поберечь, оградить... Можно и без внучки обойтись, в конце концов, а в мечте своей она всегда сможет что-то подкорректировать. Нет! – осаживала себя Евгения, когда такие мысли начинали приходиться слишком уж часто. Нельзя становиться эгоисткой, нельзя лишать дочь счастья материнства! Ведь она, Евгения, видела это смыслом своей жизни, и жестоко было бы устроить так, чтоб Агата этого не испытала. Может, и ничего, может, и встретится им умный, интеллигентный юноша, начитанный, непьющий, уважающий старших и ценящий их мнение, с руками (не вызывать же вечно то слесаря, то плотника), работающий, чтоб Агате чересчур не надрываться, и чтоб не особо требовательный – то постирай, это приготовь: она ведь не прислугу растила; чтоб ребенка любил, к жене по ночам пореже приставал с глупостями... Такого зятя она бы приняла – почему нет? Может ведь дочь оказаться счастливее, чем она сама.

* * *

– Опергруппа, на выезд!

Четвертый за эту ночь. Последнюю мою ночь на этой работе и в этой системе служения Родине. Последний на всю жизнь, потому что до конца дежурства наша группа как раз и успеет с ним разделаться. Потом – только нудная до ломоты в костях бумажная волокита, сопровождающая добровольный уход любого, кто пожелает вырваться из когтей МВД, – и через пару недель я буду носить смешное и гордое название «частный сыщик». Общественная полезность моего нового труда равна будет благу, приносимому мной обществу и ныне, только вот жалованье обещают раза так в три выше, потому что деятельность следопыта оплачивается почасово в условных единицах. Я, конечно, понимаю, что выслеживать мне придется, по большей части, неверных мужей, основной хлеб подобных контор, – причем, именно мужей, а не жен. Считается, что у женщины-детектива в самый неподходящий момент может разыграть женская солидарность с изменницей, в результате чего обманутый муж, он же клиент, окажется обманутым вдвойне. Желание же отомстить мужскому роду в целом – за ущерб, непременно понесенный от его представителей в прошлом, – наоборот, заставит сыщицу выполнять свои обязанности дотошной – и снова из корпоративного дамского духа. В любом случае, такая работа не предполагает моего хладнокровного присутствия при выбивании показаний из случайно задержанных граждан, а также таких ночных выездов, как сегодня, например.

– Мамаша, вы милицию вызывали?

– А-а?

– Милицию, спрашиваю, вызывали?

– А-а? Плохо слышно, милая...

– Ментов звала, старая карга?!

– А это кто такие?

– Мы это, мы!!!

– Нет, вас не вызывала.

– Но у нас вызов на ваш адрес! Пожилую женщину избивает пьяный сын.

– А-а?

– Сын, говорю, ваш бил вас или нет?!!

– Бил, бил, милая, вот два зуба выбил под Новый год, с пьяных-то глаз.

– А сегодня? Сегодня бил? Почему в милицию звонила, бабка?!

– Нет, сегодня не бил. Сегодня он вообще в ночную смену.

– Звонили тогда зачем?

– Что?

– Милицию – зачем – вызывали!!!

– Так замок в его комнате сломать.

– Зачем?

– А-а?

– Зачем – замок – ломать!!!

– Так деньги там, милая...

– Ваши? Украл у вас, что ли?!

– А, нет, не крал, его там деньги.

– Тогда что вы хотите-то от нас? Мы же милиция, а не взломщики!!

– Да, да, взломщики окаянные: прошлое лето, как в деревню уехала, так мою комнату и взломали! Гладильную доску – новую совсем – вынесли и пропили... Вот я и хочу, пока нету его, хоть деньгами за ту доску взять...

На обратном пути встретили на автобусной остановке пьяного мужика – это уж законная добыча. Пошерстили – пустой, похоже, пропился до гривенника. В сумке только паспорт и книги по какой-то науке. Да ну его, толку никакого, а возни много; одет тепло, не окоченеет, дождь на него пока не капает, хотя вокруг остановки стеной стоит... Поехали было дальше – рация:

– Развернитесь, там рядом с вами баба визжит, что к ней в квартиру кто-то ломится.

Подъезжаем – дом из дорогих, новой постройки, год назад заселили, а лифт только месяц как ожил. До того одно удовольствие было там по лестнице бегать, потому что вызовы всегда случались не ниже пятнадцатого этажа, причем на девяносто процентов ложные. Как сейчас.

Кабаний рев мы услышали еще из лифта:

– Открывай, хуже будет!! Дверь разнесу – убью вообще!

– Так, гражданин, почему буяним, документики.

– Вот и хорошо, вот и отлично... Слышишь там, дрянь, – милиция приехала! Сейчас тебе покажут, как над родным

мужем издеваться!!

– Тебе покажут! Арестуйте его, товарищи милиционеры!

Третий час ночи, а он тут устроил! А у меня ребенок спит!!

– Так я к жене своей иду! Что я, права не имею?!

– Спокойно, товарищи, спокойно, документы у вас имеются? И ваши, гражданочка, пожалуйста...

– Ну что, убедились? Муж я ей! Законный!

– Бывший муж, бывший! Заявление на развод подано! Так что пусть дорогу ко мне забудет!

– У меня ребенок, между прочим, здесь!

– Во тебе, а не ребенок! Скотина!

– Попрошу без оскорблений, товарищи, насчет развода и ребенка решит суд, а пока, гражданин, вам придется удалиться.

– Куда это удалиться? Здесь моя квартира!

– По месту регистрации удалиться, потому что зарегистрированы вы совсем в другом месте, а гражданка здесь именно прописана и имеет полное право отказать вам в пребывании на ее площади...

– Так это же я, я сам ей, гадине, денег на квартиру дал!

– Имущественные вопросы тоже решает суд, а пока...

– Произвол! С каких это пор милиция вмешивается в семейные дела?! Я сейчас войду в эту квартиру, потому что это мой ребенок и моя жена! И я имею на них право!

– Давайте отойдем в сторонку, гражданин, для разъяснения... Слушай, мужик, тебе нужны проблемы? Нет? Так они

сейчас будут, потому что она заяву на тебя накатает. И оформим тебе хулиганство, хочешь? Иди лучше по-хорошему, мужик, а?

На улицах нечего ловить: дождь такой, что даже милицейские фары не пробиваются дальше трех метров. Думаете, беспорядков такая погода убавляет? Ничуть. Они просто переносятся под крышу и совершаются даже с особой неистовостью, потому что в теплом помещении пьется лучше, а убежать некуда. Третий вызов нашей группы – в подъезд. Здесь действительно тяжелая статья, а не мелкая бытовая разборка: четверо девиц совместно отмузузили пятую – всерьез, до полусмерти, и добились бы до конца, если б кто-то из страдающих бессонницей жильцов не вызвал нас. Девки так увлеклись, что взяли мы их тепленькими – за шумом дождя, звуками ударов, стонами жертвы и собственным пыхтеньем они не услышали даже наших шагов. Девочек мы повязали, в «луноход» покидали, и началась еженощная тягомотина: «скорая помощь», приехавшая волшебным образом («Ну, все, допрыгалась, шалава, инвалидное кресло ей, кажется, светит», – добрый доктор после беглого осмотра); протокол, осмотр места происшествия, опрос тех, кто проснулся и сунул нос на лестницу – волынка часа на три...

Неужели я все-таки настолько привыкла к крови, что вид ее, сплошной массой застывающей на сером камне лестницы, черными, словно живыми каплями и потеками свернувшейся на стенах, больше никогда не вызовет у меня сердеч-

ного трепета?

Когда притащились в отделение, я уж решила, что все на сегодня – разве только что по мелочи, и мы едва успели опрокинуть первые пятьдесят грамм, как снова принесла нелегкая: «По коням, ребята, у нас труп».

Труп – это хуже нет. Чаще всего – перепив или передоз, следующее – пьяная драка, потом – бытовуха, реже – самоубийство, ограбление или изнасилование с последующим ножом в печень или удавкой... Надо же – последний в жизни вызов – и на полную катушку: теперь, пока со всех сторон этот труп не оближешь – дежурство не сдашь. А потом еще – писать, писать и писать, и главное, что большую часть работы мы все равно всегда выполняем напрасно.

...Никто даже не потрудился прикрыть ее хоть какой тряпкой. Так она и лежала, будто воробей, выпавший из гнезда, беспомощно и некрасиво, лицом вниз. Голова, шея, плечи – всюду волосы, волосы, волосы – светлые мокрые кудри в свете блеклых фар, мутных фонарей и фантастических багряных отблесков сверху. Под занавес своей милицейской карьеры я получила труп с гарниром в виде пожара, и будем надеяться – ох, как надеяться – на несчастный случай...

Во двор торжественно въехала красная пожарная машина – и как раз вовремя: все уже мирно догорало. Из кабины не торопясь вышел водитель в пожарной форме и с полминуты, заложив большие пальцы за пояс, меланхолично оценивал обстановку, находясь в центре всеобщего молчаливого

внимания. Наконец, деловито произнес, обращаясь ко всем вместе (во дворе под несколько сократившимся дождем уже маялось с десяток зевак плюс наша опергруппа) – и ни к кому в отдельности:

– Труп отодвиньте. Машине не проехать.

– А зачем тебе проезжать-то? – нашелся веселый лейтенант Леня.

– Тушить будем, – снисходительно пояснил мужик, смеясь его взглядом.

– Что тушить? – вскинул брови Леня. – Это? Друг, там уже, наверно, с час, как пепелище. Что ехал-то так быстро?

– Сколько надо, столько и ехал. А тушить все равно будем, по инструкции положено.

В торговле с пожарными прошло еще бесполезных минут двадцать. Сошлись на том, что они попытаются попасть в квартиру через дверь, потому что со двора тушить почти догоревший пятый этаж трудно и вломно: пламени все равно уже нет. А мы пока займемся трупом... Да, а труповозку вызвал кто-нибудь? Нам теперь что, часового здесь ставить, если машина к вечеру приедет? А вообще, смерть констатировал кто-нибудь? Может, она живая лежит, пока мы тут препираемся? Кто врач, вы врач? Точно умерла? Слава Богу... То есть, жалко, конечно... Давай, эксперт, смотри ее, а потом накроем чем-нибудь, а то видишь, какой здесь колодец: сейчас светать начнет, и вообще амфитеатр получится.

– Ага... Марин, пиши ты, что ли... Так, и что мы имеем...

Труп женщины лет около... Марин, как думаешь, сколько ей было? Лет около двадцати-двадцати пяти... Лежит лицом вниз.. Руки раскинуты... Ноги... Как бы это выразить... Выгнуты... Нет, подогнуты... Не, во как: разбросаны...

– Ты чего, Сереж? Где разбросаны? Вокруг? Ты думай тоже, что говоришь...

Совершенно ясно было, что случилось одно из двух: либо девушка, обезумев, выпрыгнула в окно, спасаясь от вездесущего огня, смутно предпочтя мгновенную смерть от падения мучительной пытке сгорания заживо, либо она полезла на карниз в надежде спастись там или докричаться о помощи – и сорвалась. Пожар, конечно, начался, когда она спала... Позвольте, да ведь она одета! Свитерок, брюки, только туфель на ней нет! Я еще раз глянула наверх и хлопнула себя по лбу: да там ведь не квартира, там редакция сгорела! Еженедельного то ли тонкого журнала, то ли толстой газеты! То-то работенка теперь подвалит, потому что тут-то как раз весьма и весьма возможен поджог. Сначала сотрудников опрашивать... В любом случае – это уже не моя работа, мне б только на месте разобраться, доложить, что и как, а дальше... Так выходит, девушка там ночью работала? И так увлеклась, что заметила крупный пожар, только когда огонь подобрался к ней вплотную? Нет, бред какой-то... Заработалась и уснула на диване? В принципе возможно, но...

– Так, ладно, граждане! Кто видел что-нибудь конкретное? Милицию кто вызывал?

– Я вызывала, – вперед выступила бесполоая и безвозрастная особь в спортивном костюме, почти, к тому же, бесплотная, зато с огромными и страшными, как у инопланетянина, глазами. – Я как увидела, что она умерла, то сразу милицию, а потом...

– По порядку, пожалуйста, – уныло пробормотала я.

– Да, да, конечно, – суетливо начала, вероятно, все-таки, дама, но потом взяла себя в руки и рассказала довольно толково: – Я проснулась от ужасного женского крика с улицы. К окну подбежала – и ахнула: весь последний этаж дома напротив пылает; там еще издательство или редакция какая-то располагается... В окне, в среднем, женщина стоит, а за ней – огонь, огонь... Ужас! Она кричит: «Помогите!» – а как ей поможешь, чем? Только глянула на нее – и побежала в пожарную звонить. Вернулась потом к окну, а эта несчастная уже из своего выбирается и на карниз хочет встать... Да разве ж устоишь на нем – он же покатый и скользкий, наверное. Дождь ведь лил всю ночь, дождь-то какой, видели? Я и моргнуть не успела, как она сорвалась и без единого вскрика упала – мелькнула, и все... Я бегом вниз, я ведь врач-травмотолог как раз, в Джанелидзе работаю, в реанимации, так что в обмороки не падаю. Подбежала и сразу увидела, что «скорая» уж ни к чему. Девушка на месте погибла, это абсолютно точно: у меня опыт работы тридцать лет, так что можете верить...

– Это верно, она себе мозги в прямом смысле слова вы-

шибла, – подал вдруг голос покинутый мной судмедэксперт.
– Не мучилась, факт.

Призрачная докторица оставила сей неделикатный комментарий без внимания. Я с некоторым интересом ее разглядывала: в моем представлении, травматолог-реаниматолог – это здоровенный мужичина с окороками вместо рук, а тут просто привидение какое-то – и ничего, тридцать лет опыта... А что, это ведь обычно именно у таких субтильных дам – железобетонная воля, конская выносливость, да еще в сочетании с неизвестно откуда берущейся волшебной физической силой. Я невольно зауважала Александру Ивановну (так она представилась). Спросила, уверенная, что ответ получу исчерпывающий и перепроверке не подлежащий:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.